

# 1

Я родился 4 января 1951 года. В первую неделю первого месяца первого года второй половины двадцатого века. Было в этом что-то знаменательное, поэтому родители назвали меня Хадзимэ<sup>1</sup>. Кроме этого, о моем появлении на свет ничего особенного не скажешь. Отец работал в крупной брокерской фирме, мать — обычная домохозяйка. Студентом отца взяли на фронт и отправили в Сингапур. Там после окончания войны он застрял в лагере для военнопленных. Дом, где жила мать, сгорел дотла в последний военный год при налете «Б-29». Их поколению от войны досталось по всей программе.

Впрочем, я появился на свет, когда о войне уже почти ничего не напоминало. Там, где мы жили, не было ни выгоревших руин, ни оккупационных войск. Фирма дала отцу жилье в маленьком мирном городке — дом доменной постройки, слегка обветшалый, зато просторный. В саду росла большая сосна, был даже маленький пруд и декоративные фонари.

Самый типичный пригород, место обитания среднего класса. Все мои одноклассники, с которыми я дружил, жили в довольно симпатичных особнячках, отличавшихся от нашего дома только размерами. У всех —

<sup>1</sup> В переводе с японского — «начало». — *Здесь и далее примечания переводчика.*

парадный ход с прихожей и садик с деревьями. Отцы моих приятелей по большей части служили в разных компаниях или были людьми свободных профессий. Семьи, в которых матери работали, попадались очень редко. Почти все держали собаку или кошку. Знакомых из многоквартирных домов или кондоминиумов у меня не было. Потом я переехал в соседний городок, но и там, в общем, наблюдалась та же самая картина. Так что до поступления в университет и переезда в Токио я пребывал в уверенности, что люди нацепляют галстуки и отправляются на работу, возвращаются в свои особнячки с неизменным садиком и кормят какую-нибудь живность. Представить, что кто-то живет иначе, было невозможно.

В большинстве семей воспитывали по двое-трое детей — это средний показатель для мирка, где я вырос. Мои друзья детства — все без исключения, кого ни возьми — были из таких, словно по трафарету вырезанных, семей. Не два ребенка — значит, три, не три — так два. Изредка попадались семейства с шестью, а то и семью наследниками и уж совсем в диковину были граждане, которые ограничивались единственным отпрыском.

Наша семья как раз была такой. Единственный ребенок — ни братьев, ни сестер. Из-за этого в детстве я долго чувствовал себя неполноценным. Каким-то особенным, лишенным того, что другие принимали как должное.

Как же я тогда ненавидел эти слова — «единственный ребенок». Каждый раз они звучали как напоминание, что во мне чего-то не хватает. В меня будто тыкали пальцем: «Ну ты, недоделанный!»

В окружавшем меня мире все были убеждены на сто процентов: таких детей родители балуют, и из них выра-

стают хилые нытики. Прописная истина: «чем выше поднимаешься в гору, тем больше падает давление» или «корова дает молоко». Поэтому я терпеть не мог, если кто-то спрашивал, сколько у меня братьев и сестер. Стоило людям услышать, что я один, как у них срабатывал рефлекс: «Ага! Единственный ребенок! Значит, испорченный, хилый и капризный». От такой шаблонной реакции становилось тошно и больно. На самом же деле, подавляло и ранило меня в детстве другое: эти люди говорили истинную правду. Я ведь действительно был избалованным хлюпиком.

В моей школе таких «единственных детей» было совсем мало. За шесть начальных классов мне встретился только один экземпляр. Я очень хорошо помню ее (да, это была девочка). Мы подружились, болтали обо всем на свете и прекрасно понимали друг друга. Можно даже сказать, я к ней привязался.

Звали ее Симамото. Сразу после рождения она переболела полиомиелитом и чуть-чуть приволакивала левую ногу. Вдобавок Симамото перевелась к нам из другой школы — пришла уже в самом конце пятого класса. Можно сказать, на нее легла тяжелая психологическая нагрузка, с которой мои проблемы и сравниться не могли. Но непомерная тяжесть, давившая на маленькую девчонку, лишь делала ее сильнее — гораздо сильнее меня. Она никогда не ныла, никому не жаловалась. Лицо ничем не выдавало ее — Симамото всегда улыбалась, даже когда ей было плохо. И чем тяжелее, тем шире улыбка. У нее была необыкновенная улыбка. Она утешала, успокаивала, воодушевляла меня, будто говоря: «Все будет хорошо. Потерпи немножко — все пройдет». Спустя годы, я вспоминаю ее лицо, и в памяти всякий раз всплывает эта улыбка.

Училась Симамото хорошо, относилась ко всем справедливо и по-доброму, и в классе ее признали. Я же был совсем другим. Впрочем, и ее одноклассники вряд ли так уж любили. Просто не дразнили и не смеялись над ней. И, кроме меня, настоящих друзей у нее не было.

Может, она казалась другим ученикам чересчур спокойной и сдержанной. Кто-то, верно, считал Симамото воображалой и задавакой. Но мне удалось разглядеть за этой внешностью нечто теплое и хрупкое, легкоранимое. Оно, как в прятках, скрывалось в этой девочке и надеялось, что со временем кто-то обратит на него внимание. Я вдруг сразу уловил такой намек в ее словах, в ее лице.

Из-за работы отца семья Симамото переезжала с места на место, и ей часто приходилось менять школу. Кем был ее отец — точно не помню. Как-то раз она подробно рассказывала о нем, но мне, как и большинству сверстников, мало было дела до того, чем занимается чей-то отец. Какая же у него была профессия? Что-то, связанное то ли с банками, то ли с налоговой инспекцией, то ли с реструктуризацией каких-то компаний. Дом, где поселились Симамото, — довольно большой особняк в европейском стиле, обнесенный замечательной каменной оградой в пояс высотой, — принадлежал фирме, где работал отец. Вдоль ограды шла живая изгородь из вечнозеленых кустарников, сквозь просветы виднелся сад с зеленой лужайкой.

Симамото была высокой — почти с меня ростом. Четкие выразительные черты лица. С такой внешностью она через несколько лет обещала стать настоящей красавицей. Но когда я впервые увидел эту девчонку, она еще не обрела того облика, что соответствовал бы ее характеру. Нескладная, угловатая, она мало кому казалась при-

влекательной. Потому, наверное, что в ней плохо уживались взрослые черты и оставшаяся детскость. Временами от такой дисгармонии делалось как-то неудобно.

Наши дома стояли совсем рядом (буквально в двух шагах), поэтому, когда Симамото пришла в наш класс, ее на месяц посадили рядом со мной. Я принялся объяснять новенькой особенности школьной жизни: какие нужны пособия, что за контрольные мы пишем каждую неделю, что надо приносить на уроки, как проходим учебники, убираем класс, дежуриим по столовой. В нашей школе было заведено: новеньких на первых порах опекали те ученики, кто жил к ним ближе всех. А поскольку Симамото еще и хромала, учитель специально вызвал меня и попросил первое время о ней позаботиться.

Поначалу нам никак не удавалось разговориться — так обычно бывает у одиннадцати-двенадцатилетних мальчишек и девчонок, которые стесняются друг друга. Но когда выяснилось, что мы с ней единственные дети в семье, все пошло как по маслу — нам стало легко и просто, и мы начали болтать без умолку. Прежде ни ей, ни мне не доводилось встречаться с ребятами, у которых не было братьев или сестер. Мы разговаривали до хрипоты — ведь так много хотелось сказать. Из школы часто возвращались вместе. Идти нам было чуть больше километра, мы шли медленно (из-за хромой ноги Симамото не могла ходить быстро) и разговаривали, разговаривали... Скоро мы поняли, что у нас много общего: оба любили читать, слушать музыку и нам обоим нравились кошки. Мы не умели раскрывать душу людям. Не могли есть все подряд — у нас был длинный список того, что мы терпеть не могли. Интересные предметы давались нам без труда, нелюбимые мы ненавидели лютой ненавистью. Хотя были между нами и отличия: Симамото со-

знательно старалась заслониться, защитить себя. Не то, что я. Она училась серьезно, хорошо успевала даже по самым противным предметам, чего не скажешь обо мне. Иными словами, защитная стена, которой она себя окружила, оказалась куда выше и прочнее моей. Но то, что скрывалось за этой стеной, мне поразительно напоминало меня самого.

Я быстро привык к Симамото. Раньше со мной такого не бывало. Меня не бил никакой мандраж — не то что с другими девчонками. Мне нравилось возвращаться с ней домой из школы. Она шла, слегка приволакивая ногу. Иногда присаживалась в парке на скамейку и немного отдыхала. Мне это было совсем не в тягость — скорее наоборот, я радовался, что есть время пообщаться еще.

Все больше времени мы проводили вместе. Не припоминаю, чтобы кто-то нас из-за этого дразнил. Тогда я не очень удивлялся, но сейчас это выглядит странно. Ведь в таком возрасте стоит детям заметить, что какой-то мальчишка дружит с девочкой, они тут же начинают издеваться. Мне кажется, дело было в характере Симамото. В ее присутствии ребята испытывали легкое напряжение и не хотели выставлять себя дураками. Как бы поневоле думали: «Лучше при ней чепуху не молоть». Иногда, казалось, даже учителя не знали, как себя вести с Симамото. Может, из-за ее хромоты? Так или иначе, все, похоже, осознавали, что дразнить ее не годится, и мне это было приятно.

На уроки физкультуры Симамото не ходила и оставалась дома, когда мы всем классом отправлялись на экскурсии, в поход в горы или летний лагерь, где все занимались плаванием. Во время школьных соревнований ей, наверное, бывало не по себе, но во всем остальном

у нее была самая обыкновенная школьная жизнь. О ноге она совсем не вспоминала — разговоров об этом, насколько я помню, не было ни разу. Никогда по дороге из школы она не извинялась, что идет медленно и задерживает меня, да и на лице ее неловкости я не замечал. Но я прекрасно понимал: она все время думает о своей ноге и именно потому избегает этой темы. Симамото не очень любила ходить в гости к другим ребятам — там ведь надо снимать обувь, а на ее туфлях разные каблучки — один немного выше другого, да и сами туфли друг от друга отличались, — и она не хотела, чтобы кто-то это видел. Туфли ей, должно быть, делали на заказ. Я обратил на них внимание, когда заметил, что у себя она в первую очередь снимает туфли и старается побыстрее убрать их в шкаф.

В гостиной у Симамото стояла новенькая стереосистема, и я часто заходил к ней послушать музыку. Система была очень приличная, чего не скажешь о пластинках, которые собирал ее отец. Их оказалось штук пятнадцать, не больше — в основном, легкая классическая музыка для неискушенных любителей. Мы слушали их бесчисленное множество раз, и я до сих пор не забыл ни одной ноты.

Пластинками занималась Симамото. Доставала диск из конверта и, держа его обеими руками, не касаясь поверхности, ставила на проигрыватель. Потом, смахнув щеточкой пыль со звукоснимателя, плавно опускала на пластинку иглу. Когда сторона заканчивалась, Симамото прыскала на нее спреем и протирала мягким лоскутком. В завершение пластинка возвращалась в конверт и водружалась на свое место на полке. Симамото научилась этим операциям у отца и выполняла их с ужасно серьезным видом, сощурившись и почти не дыша. Я сидел на

диване и наблюдал за ней. И лишь когда пластинка оказывалась на полке, Симамото поворачивалась ко мне, чуть улыбаясь. Всякий раз мне приходило в голову, что она держит в руках не пластинку, а чью-то хрупкую душу, заключенную в стеклянный сосуд.

У меня дома не было ни проигрывателя, ни пластинок. Родители музыкой не интересовались, поэтому я слушал у себя в комнате радио — маленькую пластмассовую «мыльницу», принимавшую только средние волны. Больше всего мне нравился рок-н-ролл, но я быстро полюбил и классику, которую мы слушали у Симамото. То была музыка из «другого мира», она притягивала меня — возможно, потому, что к этому миру принадлежала моя подружка. Раз или два в неделю после обеда мы заходили к ней, сидели на диване, пили чай, которым угощала нас ее мать, и слушали увертюры Россини, бетховенскую «Пасторальную» симфонию и «Пер Гюнта». Мамаша была рада, что я приходил к ним. Еще бы! Дочка только-только пошла в новую школу, а у нее уже приятель появился. Тихий, всегда аккуратно одет. Сказать по правде, старшая Симамото не сильно мне нравилась. Сам не знаю, почему. Со мной она всегда была приветлива, но иногда в ее голосе звучали нотки раздражения, и временами я чувствовал себя не в своей тарелке.

Среди пластинок отца Симамото у меня была любимая — концерты Листа для фортепиано. По одному концерту на каждой стороне. Любил я ее по двум причинам. Во-первых, у нее был очень красивый конверт. А во-вторых, никто из моих знакомых — за исключением Симамото, разумеется, — фортепианных концертов Листа не слушал. Сама эта мысль волновала меня. Я попал в мир, о котором никто не знает. Мир, похожий на потайной сад, куда вход открыт только мне одному. Слушая Листа,

я чувствовал, как расту над собой, поднимаюсь на новую ступеньку.

Да и музыка была прекрасная. Поначалу она казалась мне вычурной, искусственной, какой-то бессвязной. Но я слушал ее раз за разом, и понемногу мелодия стала складываться в моей голове в законченные образы. Так бывает, когда смутное изображение постепенно обретает перед вашим взором четкие очертания. Сосредоточившись и зажмурив глаза, я мысленным зрением наблюдал бурлящие в этих звуках водовороты. Из только что возникшей водяной воронки появлялась еще одна, из нее тут же — третья. Сейчас я, конечно, понимаю, что эти водовороты были отвлеченной абстракцией. Мне больше всего на свете хотелось рассказать о них Симамото, однако объяснить нормальными словами то, что я тогда ощущал, было невозможно. Для этого требовались какие-то другие, особые слова, но таких я еще не знал. Вдобавок у меня не было уверенности, что мои ощущения стоят того, чтобы о них кому-то рассказывать.

К сожалению, память не сохранила имени музыканта, игравшего Листа. Запомнились только блестящий красочный конверт и вес на руке — пластинка непостижимым образом наливалась тяжестью и казалась необычайно массивной.

Вместе с классикой на полке у Симамото стояли Нат Кинг Коул и Бинг Кросби. Мы ставили их очень часто. На диске Кросби были рождественские песни, но они шли хорошо в любое время года. И как только они нам не надоедали?

Как-то в декабре, накануне Рождества, мы сидели у Симамото в гостиной. Устроились, как обычно, на диване и крутили пластинки. Ее мать ушла куда-то по делам, и мы остались в доме одни. Зимний день выдался

пасмурным и мрачным. Солнечные лучи, с трудом пробиваясь сквозь низкие тяжелые тучи, расчерчивали светлыми полосами пылинки в воздухе. Время шло; все, видимое глазу, потускнело и застыло. Надвигался вечер, и в комнате уже стало совсем темно — прямо как ночью. Свет никто не включал, и по стенам растекалось лишь красноватое свечение керосинового обогревателя. Нат Кинг Коул пел «Вообрази». Английских слов песни мы, конечно, не понимали. Для нас они звучали как заклинание. Но мы полюбили эту песню, слушали ее снова и снова и распевали первые строчки, подражая певцу:

Пуритэн ню'а хапи бэн ню'а бру  
Итизн бэри ха'то ду<sup>1</sup>

Теперь-то я, понятное дело, знаю, о чем эта песня. «Когда тебе плохо, вообрази, что ты счастлива. Это не так трудно». Эта песня напоминала мне ту улыбку, что постоянно светилась на лице Симамото. Что ж, правильно в песне поется — можно и так к жизни относиться. Другое дело, что иногда это очень тяжело.

На Симамото был голубой свитер с круглым воротом. Я помню у нее их несколько, одинакового цвета: похоже, голубой ей нравился больше прочих оттенков. А может, голубые свитеры просто шли к темно-синему пальто, в котором она все время ходила в школу. Из-под свитера выглядывал воротничок белой блузки. Клетчатая юбка, белые хлопчатобумажные чулки. Мягкий обтягивающий свитер выдавал едва заметные припухлости на груди. Симамото устроилась на диване, поджав ноги.

<sup>1</sup> Искаженные слова песни классика американской эстрады Ната Кинга Коула (1917—1965) «Вообрази»: «Pretend you're happy when you're blue / It isn't very hard to do».

Облокотившись о спинку дивана, она слушала музыку, глядя куда-то вдаль, словно рассматривала одной ей видимый пейзаж.

— Правда, говорят, что если у родителей только один ребенок, значит, у них отношения не очень? — вдруг спросила она.

Я ненадолго задумался, но так и не сообразил, какая тут может быть связь.

— С чего ты это взяла?

— Один человек сказал. Давно уже. Предки не ладят, поэтому заводят ребенка и потом — всё. Я, когда про это услышала, расстроилась страшно.

— Гм-м.

— А твои между собой как?

Я замялся: просто не думал об этом, — и ответил:

— Вообще-то у мамы со здоровьем не очень хорошо. Точно не знаю, но с еще одним ребенком ей, наверное, было бы слишком тяжело.

— А ты думал, как бы тебе было с братом или сестрой?

— Нет.

— Почему? Почему не думал?

Я взял со стола конверт от пластинки и попробовал рассмотреть, что на нем написано, но в комнате уже стало совсем темно. Положив конверт обратно, потер запястьем глаза. Мать как-то спросила у меня о том же самом. Тогда мой ответ ее ни обрадовал, ни огорчил. Выслушав меня, она ничего не сказала — только сделала какое-то странное лицо. Хотя ответив ей, я был абсолютно честен и искренен перед самим собой.

Ответ получился очень длинный и сбивчивый. Я так и не смог толком выразить, что хотел. А хотелось мне сказать вот что: «Я вырос без братьев и сестер и получился такой, какой есть. А если бы они были, я был бы сей-

час другим. Поэтому что ж думать о том, чего нет?» В общем, вопрос матери показался мне бессмысленным.

То же самое я ответил Симамото. Она слушала, не сводя с меня глаз. А меня что-то притягивало в ее лице — я, конечно, осознал это позже, вспоминая то время. Словно она мягкими, нежными касаниями слой за слоем снимала тончайшую оболочку, в которую заключено сердце человеческое. И сейчас прекрасно помню, как менялось выражение ее лица, слегка кривились губы, как в ее глазах, где-то очень глубоко, загорался слабый, едва различимый огонек, напоминавший пламя крошечной свечки, что мерцает в длинной, погруженной во тьму комнате.

— Я вроде понимаю, о чем ты, — тихо сказала Симамото. Эти слова прозвучали так, будто их вымолвил не ребенок, а вполне взрослый человек.

— Да?

— Угу. Мне кажется, в жизни что-то можно переделать, а что-то нельзя. Вот время. Его не вернешь. Прошло и все, обратного пути не будет. Правда ведь?

Я кивнул.

— Время идет и застывает. Как цемент в ведре. И тогда назад уже не вернешься. То есть ты хочешь сказать, что цемент, из которого ты сделан, уже застыл, поэтому ты можешь быть только таким, какой ты сейчас, а не другим. Так?

— Так, наверное, — неуверенно отозвался я.

Симамото долго разглядывала свои руки и наконец сказала:

— Знаешь, иногда я думаю: а что будет, когда я вырасту, замуж выйду? В каком доме буду жить? Чем стану заниматься? И еще думаю, сколько детей у меня будет.

— Ого! — сказал я.

— А ты про это думаешь?

Я покачал головой. Чтобы двенадцатилетний мальчишка об этом задумывался?

— И сколько же детей ты хочешь?

Симамото переложила руку со спинки дивана на колени. Я рассеянно смотрел, как она не спеша водит пальцами по квадратам своей юбки. Что-то загадочное было в этих движениях; казалось, от ее пальцев тянутся невидимые тонкие нити, из которых сплетается новое время. Я зажмурился, и в наполнившей глаза темноте забурлили водовороты. Появились и беззвучно пропали. Откуда-то доносился голос Ната Кинга Коула — он пел «К югу от границы». Песня была о Мексике, но тогда я этого еще не знал, и в звуке этих слов — «к югу от границы...» — мне лишь слышалось что-то необычайно привлекательное. Интересно, что же там, к югу от границы? — подумал я, открыл глаза и увидел, что Симамото все еще водит пальцами по юбке. Где-то внутри у меня блуждала едва ощутимая сладкая боль.

— Странно, — сказала она, — но больше одного ребенка я почему-то представить не могу. Мамой себя вообразить — это пожалуйста. Но только с одним ребенком. Без брата, без сестры.

Она развилась рано — это факт, а я был мальчишкой, существом другого пола, и наверняка ее привлекал. Да и у меня было к ней такое же влечение. Но я понятия не имел, что с ним делать. Симамото, по всей вероятности, — тоже. Только раз она дотронулась до меня. Мы шли куда-то, и она схватила меня за руку, точно хотела сказать: «Давай сюда, скорее». Наши руки соприкасались секунд десять, но мне показалось, что прошло, как минимум, полчаса. Когда она выпустила мою руку, мне

захотелось, чтобы она снова взяла ее. И я понял: Симамото сделала это нарочно, хотя все произошло очень естественно, будто невзначай.

Я помню ее касание до сих пор. Ничего подобного я не чувствовал ни до того случая, ни после. Обыкновенная рука двенадцатилетней девчонки. Маленькая, теплая. Но в то же время в ее ладони сосредоточилось для меня все, что я хотел и должен был тогда узнать. Симамото как-то раскрыла мне глаза, дала понять, что в нашем реальном мире есть некое особое место. За те десять секунд я успел превратиться в крохотную птичку, взмыть в небо, поймать порыв ветра. Оглядеть с высоты простиравшуюся подо мной землю. Она казалась такой далекой, что разобрать толком, что там, внизу, было невозможно. «И все-таки там что-то есть. Когда-нибудь я попаду туда и все увижу». От такого открытия перехватило дыхание, и в груди что-то забилося.

Придя домой, я сел за стол у себя в комнате и долго рассматривал руку, за которую держала меня Симамото. Я был в восторге: она держала меня за руку! Ее мягкое касание еще много дней согревало мне сердце. И в то же время оно сбило меня с толку, заставило мучаться вопросом: а что я буду делать с этим теплом?

\* \* \*

Окончив шестой класс<sup>1</sup>, мы с Симамото расстались. Обстоятельства сложились так, что я переехал в другой го-

<sup>1</sup> В Японии существует девятилетняя система обязательного школьного образования: начальная шестилетка и три года обучения в средней школе. Стремясь продолжить образование, большинство японских школьников поступают затем в так называемую «школу высшей ступени», где учатся еще три года.

род. Хотя, может, это слишком громко сказано — до «другого города» было всего пару остановок на электричке, поэтому я несколько раз приезжал навестить Симамото. За три месяца после переезда — раза три-четыре, наверное. Но потом я эти поездки бросил. Ведь у нас был такой сложный возраст, когда достаточно пустяка — стали ходить в разные школы и жить на разных станциях, почти соседних, — и начинает казаться, будто мир перевернулся. Другие приятели, другая школьная форма, другие учебники. Вдруг все стало меняться: фигура, голос, мысли, — и в наших отношениях с Симамото, прежде таких душевных, все чаще возникали неловкости. А она, наверное, менялась еще сильнее — и телом, и душой. Из-за этого я чувствовал себя паршиво. А тут еще ее мать стала смотреть на меня как-то странно: «Почему этот мальчик все время к нам приходит? Ведь он больше здесь не живет. И в другой школе учится». А может, я просто принимал все чересчур близко к сердцу? Но нельзя же было не обращать внимания на ее взгляды.

Я отдалялся от Симамото все больше и в итоге совсем перестал к ней ездить. Скорее всего, я совершил ошибку. (Впрочем, об этом можно только гадать. В конце концов, я не обязан копаться во всех закоулках своей памяти, вспоминая о прошлом, и решать, что в нем правильно, а что нет.) Надо было крепко держаться за нее. Я нуждался в ней, а она во мне. Но я был чересчур застенчив и легко раним. И больше не видел ее, пока не встретил через много лет.

Даже когда наши встречи прекратились, я все время тепло вспоминал Симамото. Эти воспоминания поддерживали меня, когда взрослеть мне было мучительно. Как владелец ресторана держит на столике в самом тихом уголке своего заведения табличку с надписью «Заказан»,

так и я надолго оставил в сердце место для Симамото. Пускай и думал, что больше никогда ее не увижу.

В двенадцать лет серьезный интерес к противоположному полу во мне еще не проснулся. И хотя уже одолевало смутное любопытство: «Зачем у нее на груди эти бугорки? Интересно, а что у нее под юбкой?», я не имел понятия, что это значит и к чему может привести. С закрытыми глазами я рисовал в голове картины. Конечно, они получались нечеткими, незавершенными. Все представлялось смутно, как в тумане; очертания расплывались и таяли. И все же было ясно, что в этих образах кроется что-то исключительно важное для меня. И я знал: перед глазами Симамото возникают те же картины.

Существа еще не сформировавшиеся, мы только начали ощущать реальность, пока непознанную, которой еще предстояло раскрыться и заполнить собой нашу незавершенность. Мы стояли перед незнакомой дверью. Вдвоем, в тусклом дрожащем свете, схватившись за руки на десять мимолетных секунд.

## 2

В школе высшей ступени я ничем среди прочих не выделялся. Старшие классы — второй этап жизни, шаг в эволюции моей личности. Я перестал считать себя особенным и стал обычным, нормальным человеком. Внимательный наблюдатель, конечно, легко обнаружил бы у меня целый набор комплексов. Но у кого их нет в шестнадцать лет? В этом смысле я походил на остальной мир, а мир — на меня.

В шестнадцать лет от прежнего хилого маменькиного сынка ничего не осталось. В средних классах я начал ходить в школу плавания недалеко от нашего дома. Освоил кроль и серьезно тренировался два раза в неделю. И пожалуйста — раздались плечи и грудь, окрепли мышцы. Задохлик, хватавший простуду от одного дуновения ветерка и вынужденный отлеживаться в постели, остался в прошлом. Раздевшись догола в ванной, я подолгу разглядывал себя в зеркало. Мне нравилось, что мое тело меняется буквально на глазах. Я радовался не тому, что расту, постепенно становлюсь взрослым, а скорее — самому процессу моего преобразования. Я превращался в другого человека. Вот, что меня привлекало.

Я много читал, слушал музыку. Книги и музыка интересовали меня и раньше, а от дружбы с Симамото привычка читать и слушать лишь окрепла. Я полюбил ходить в библиотеку и глотал книги одну за другой. Они

действовали на меня, как наркотик: открыв книжку, я уже не мог от нее оторваться. Читал за едой, в электричке, допоздна в постели, в классе на уроках. Купил портативную стереосистему и, как только выпадала свободная минута, запирался в своей комнате и крутил джазовые пластинки. Но делиться с кем-нибудь впечатлениями о прочитанных книгах и о музыке желания не возникало. Мне вполне хватало собственного общества. Короче, одиночка с высоким самомнением. Меня совершенно не привлекали командные виды спорта, и вообще я терпеть не мог соревнований, где для победы нужно считать очки. Плавание мне подходило куда больше — плывешь сам по себе, все спокойно, никакого шума.

При всем том, однако, я не был таким уж безнадежным мизантропом. У меня появились близкие школьные друзья — правда, немного. Хотя, скажу честно: в школу ходить я не любил. Приятели постоянно давили на меня, поэтому все время приходилось быть начеку. Но если бы не они, беспокойный тинэйджерский период прошел бы для меня еще болезненнее.

Начал заниматься спортом — сразу заметно сократился черный список ненавистной еды; я научился общаться с девчонками, не заливаясь краской ни с того ни с сего. И в один прекрасный день окружающие перестали замечать, что я — единственный ребенок в семье. Так — по крайней мере, внешне — я избавился от этого клейма.

И завел себе подружку.

\* \* \*

Красивую? Да ничего особенного. Во всяком случае, не тот тип, что казался привлекательным моей матери,

когда она, рассматривая фото моего класса, вздыхала и спрашивала:

— Как фамилия этой девочки? Прямо красавица.

Но когда я в первый раз увидел эту девчонку, она показалась мне хорошенькой. На фотографии этого не разберешь, но от нее веяло притягательным теплом. Конечно, красоткой я бы ее не назвал, но ведь и мне тоже особо нечем было похвастаться.

Мы учились в одном классе и часто встречались. Сначала брали за компанию кого-нибудь из ее подружек и моих приятелей, потом стали ходить вдвоем. Мне было с ней удивительно легко. При ней язык у меня развязывался, а она всегда слушала мою болтовню с удовольствием и таким интересом, будто я совершил важное открытие, от которого перевернется весь мир. После Симамото первая девушка слушала меня так внимательно. Да и мне хотелось знать о ней все, любую мелочь. Что она ест каждый день, какая у нее комната. Какой вид из окна.

Звали ее Идзуми<sup>1</sup>.

— Имя у тебя — просто супер, — сказал я на первом свидании. — Вроде есть такая сказка: кто-то бросает топор в родник — и появляется фея.

Она рассмеялась. У Идзуми были сестра и брат — на три и пять лет моложе. Отец — стоматолог, поэтому семья жила в отдельном доме. И еще у них была собака — немецкая овчарка Карл. Не поверите, но пса назвали в честь Карла Маркса. Отец Идзуми состоял в компартии. И среди коммунистов попадаются зубные врачи. Может, их даже на четыре, а то и на пять автобусов наберется. Но я прямо-таки обалдел от того, что папаша моей подружки оказался из такой редкой породы. Родители Идзуми с ума

<sup>1</sup> В переводе с японского — «родник».

сходили от тенниса: как воскресенье — обязательно хватали ракетки и срывались на корты. Коммунисты, помешанные на теннисе, — это что-то. Но Идзуми, похоже, не видела в этом ничего особенного. Компартия ей была до лампочки, но родителей она любила и довольно часто играла в теннис вместе с ними. Да и меня хотела втянуть в это дело, но не тут-то было. Теннис — это без меня.

Она страшно завидовала, что я в семье — единственный ребенок, а брата и сестру терпеть не могла, называла их парочкой тупых идиотов.

— Как без них было бы хорошо! Просто красота. Всегда мечтала быть одной у родителей. Живешь спокойно, сама по себе, никто не пристаёт.

На третьем свидании я ее поцеловал. Идзуми зашла ко мне, когда дома никого не было, — мать отправилась по магазинам. Придвинувшись поближе, я коснулся губами ее губ. Закрыв глаза, она молчала. Я заготовил десяток оправданий на тот случай, если Идзуми обидится или отвернется, но они не понадобились. Не прерывая поцелуя, я обнял ее и прижал к себе. Лето катилось к финишу; на ней было полосатое льняное платье с пояском, концы которого болтались сзади, как хвостик. Ладонь нащупала у нее на спине застежку лифчика. Я чувствовал дыхание девушки на своей шее. Сердце так колотилось в груди, что готово было выскочить. Мой член уткнулся Идзуми в бедро; казалось, он вот-вот лопнет от напряжения. Идзуми лишь чуть-чуть отодвинулась. Наверное, для нее в такой сцене не было ничего противоестественного или неприятного.

Мы сидели обнявшись на диване в гостиной. Напротив, на стуле, расположился кот. Он покосился на нас, потянулся лениво и снова погрузился в спячку. Я гладил ее волосы и целовал в маленькое ухо. «Надо бы что-то сказать», — мелькнуло в голове, но подходящих

слов не нашлось. Какие там разговоры! Я и дышал-то еле-еле. Взяв Идзуми за руку, я поцеловал ее еще раз. Мы долго молчали.

Проводив Идзуми до станции, я все никак не мог успокоиться. Вернулся домой, повалился на диван и устал в потолок. В голове был полный кавардак. Вскоре вернулась мать и позвала меня ужинать. Но мне и думать о еде не хотелось. Ни слова не говоря, я сунул ноги в ботинки, вышел из дома и часа два бродил по городку. Мне было странно. Вроде я уже не один, и в то же время такое одиночество навалилось, какого раньше я никогда не чувствовал. Как будто впервые в жизни надел очки и никак не могу поймать перспективу. Казалось, далекое — вот оно, совсем рядом; неясные, расплывчатые предметы обретали четкие очертания.

Когда мы прощались на станции, Идзуми поблагодарила меня:

— Я такая счастливая! Спасибо тебе.

Я, конечно, тоже был рад — как-то не верилось, что девушка разрешила себя поцеловать. Как не радоваться! Но был ли я на седьмом небе от счастья? Вряд ли. Я напоминал башню, лишенную фундамента. Чем дольше вглядывался вдаль с ее верхушки, тем сильнее меня раскачивало. Почему именно эта девчонка? Что я о ней знаю? Ну встречались несколько раз, болтали о разной чепухе. И больше ничего. Я места себе не находил от этих мыслей.

Вот если бы вместо Идзуми оказалась Симамото, если бы с ней я обнимался и целовался, я бы так не дергался. С ней мы понимали друг друга без слов, и никогда между нами не возникало неловкости.

Но Симамото рядом больше не было. У нее теперь своя, новая жизнь, а у меня — своя. Потому и сравнивать ее с Идзуми нечего. Все равно без толку. В старую жизнь

дверь захлопнулась, нужно как-то утвердиться в окружающем меня новом мире.

Небо на востоке уже зарозовело, а я все не спал. Подремав кое-как пару часов, принял душ и пошел в школу. Надо поймать Идзуми и поговорить с ней. Убедиться, что все, что было вчера между нами, — правда. Услышать от нее, что ничего не изменилось. Ведь она и правда сказала на прощанье: «Я такая счастливая! Спасибо тебе». Хотя кто знает: вдруг мне это на рассвете привиделось? В школе нам поговорить так и не удалось. На перемене Идзуми не отходила от подружек, а после уроков сразу убежала домой. Мы только раз обменялись взглядами — когда переходили в другой кабинет. На ее лице мелькнула приветливая улыбка, я тоже улыбнулся в ответ. И все. Но в улыбке Идзуми я уловил: да, вчера все было так, как было. Словно она говорила мне: «Все было на самом деле». Так что когда я возвращался на электричке домой, от сомнений, мучивших меня, почти не осталось следа. Идзуми была мне нужна, и тяга к ней легко пересилила все колебания и сомнения.

Что же я от нее хотел? Ну, это понятно. Раздеть хотел, хотел секса. Однако до этого было еще далеко. В таких делах существует четко установленный порядок. Для начала требуется расстегнуть молнию на платье. Но чтобы дойти до самого главного, надо принять порядка двадцати, а то и тридцати весьма непростых решений.

Прежде всего, следует запастись презервативами. Конечно, еще не известно, когда до них дело дойдет, но все же необходимо их где-то раздобыть. О том, чтобы купить в аптеке, я даже не думал. Хорош школьник, если покупает такие вещи!.. Нет, у меня смелости не хватит. В городке стояло несколько автоматов, торговавших этим добром, но я страшно боялся: вдруг кто-

нибудь засечет меня. Мучился я этой проблемой дня три-четыре.

Но в конце концов все уладилось проще, чем я думал. Был у меня приятель, которого считали специалистом в таких делах. Недолго думая, я решил обратиться к нему:

— Знаешь, мне презервативы понадобились. Не можешь достать?

— Нет ничего проще. Хочешь пачку? — ответил он невозмутимо. — Мой брат назаказывал их по каталогу целую кучу. Не знаю, зачем ему столько. Полный шкаф. Одной пачки он и не заметит.

— Принеси, а? Будь другом.

На следующий день он притащил резинки в школу в бумажном пакете, а я заплатил в буфете за обед за двоих и попросил его никому об этом не рассказывать. Он обещал молчать и, конечно же, растрепал все своим дружкам, а те уже раззвонили по всей школе. Дошла история и до Идзуми. Она вызвала меня после уроков на школьную крышу и сказала:

— Хадзимэ! Я слышала, Нисида тебе презервативы дал.

Это словечко далось ей с большим трудом — оно прозвучало, как название вредоносного микроба, вызывающего какую-нибудь страшную инфекционную болезнь.

— Э-э-э... — промямлил я, безуспешно пытаюсь подобрать нужные слова. — Да я так... Просто думал, может, лучше, чтобы были. На всякий случай...

— Ты для меня их достал?

— Да нет, что ты! Интересно посмотреть, вот и все. Извини, если тебе неприятно. Я их обратно отдам или выкину.

Мы устроились в уголке на маленькой каменной скамеечке. Собирался дождь, и на крыше, кроме нас, нико-

го не было. Кругом ни звука. Я и не думал, что здесь бывает так тихо.

Наша школа стояла на вершине холма, и с крыши был прекрасно виден весь городок и море. Как-то раз мы с приятелями стащили из школьного радиоузла десяток старых пластинок и стали запускать их с крыши. Поймав ветер, они, ожившие на мгновение, радостно, по красивой дуге, летели в сторону гавани. И надо же было случиться: одна пластинка не набрала высоту, неловко закувыркалась в воздухе и свалилась прямо на теннисный корт, до смерти напугав двух новеньких девчонок — их угораздило там тренироваться. Нам тогда по первое число досталось. И вот через год с небольшим после того случая на том же месте подружка учинила мне допрос из-за этих злосчастных презервативов. Подняв голову, я увидел кружившего в небе коршуна. Здорово, наверное, быть такой птицей. Летай себе, и больше от тебя ничего не требуется. Уж во всяком случае — предохраняться не надо.

— Я тебе правда нравлюсь? — тихо спросила Идзуми.

— Еще как! — отвечал я. — Конечно, нравишься.

Сжав губы в ниточку, она посмотрела мне прямо в глаза и так долго не отводила взгляда, что мне сделалось не по себе.

— Ты мне тоже, — наконец сказала Идзуми.

«Сейчас скажет: но...» — подумал я и угадал.

— Но не торопись, пожалуйста.

Я кивнул.

— Ты такой горячий. Подожди. Я не могу так быстро. Просто не могу. Мне подготовиться надо. Ты ведь можешь подождать?

Я снова кивнул, не сказав ни слова.

— Обещаешь? — проговорила она.

— Обещаю.

— Ты не сделаешь мне больно?

— Не сделаю, — сказал я.

Идзуми опустила голову и поглядела на свои туфли — обыкновенные черные мокасины. Рядом с моими они казались совсем маленькими, словно игрушечными.

— Я боюсь! — сказала она. — Мне стало казаться в последнее время, что я превратилась в улитку, у которой отобрали ее домик.

— Я сам боюсь, — отозвался я. — Чувствую себя иногда, как лягушка с рваными перепонками.

Идзуми подняла на меня глаза и улыбнулась.

Будто сговорившись, мы молча встали и перешли в тень какой-то будки на крыше, обнялись и поцеловались. Улитка без домика и лягушка без перепонки на лапках... Я крепко прижал к себе Идзуми. Наши языки робко соприкоснулись. Рука скользнула по ее блузке, нащупала грудь. Идзуми не возражала, лишь закрыла глаза и вздохнула. Грудь у нее оказалась небольшая и уютно уместилась в ладони, будто ей там было самое место. Идзуми тоже прижала руку к моей груди, к самому сердцу, и это касание как бы влилось в его глухие толчки. «Конечно, она совсем другая, не такая, как Симамото, — думал я. — Нечего ждать от нее того, что я получал от Симамото. Но она моя и старается отдать мне все, что может. Как же я могу сделать ей больно?»

Я ничего тогда не понимал. Мне и невдомек было, что можно нанести человеку такую глубокую рану, после которой уже ничего не вернешь, не поправишь. Иногда для этого достаточно одного твоего существования.